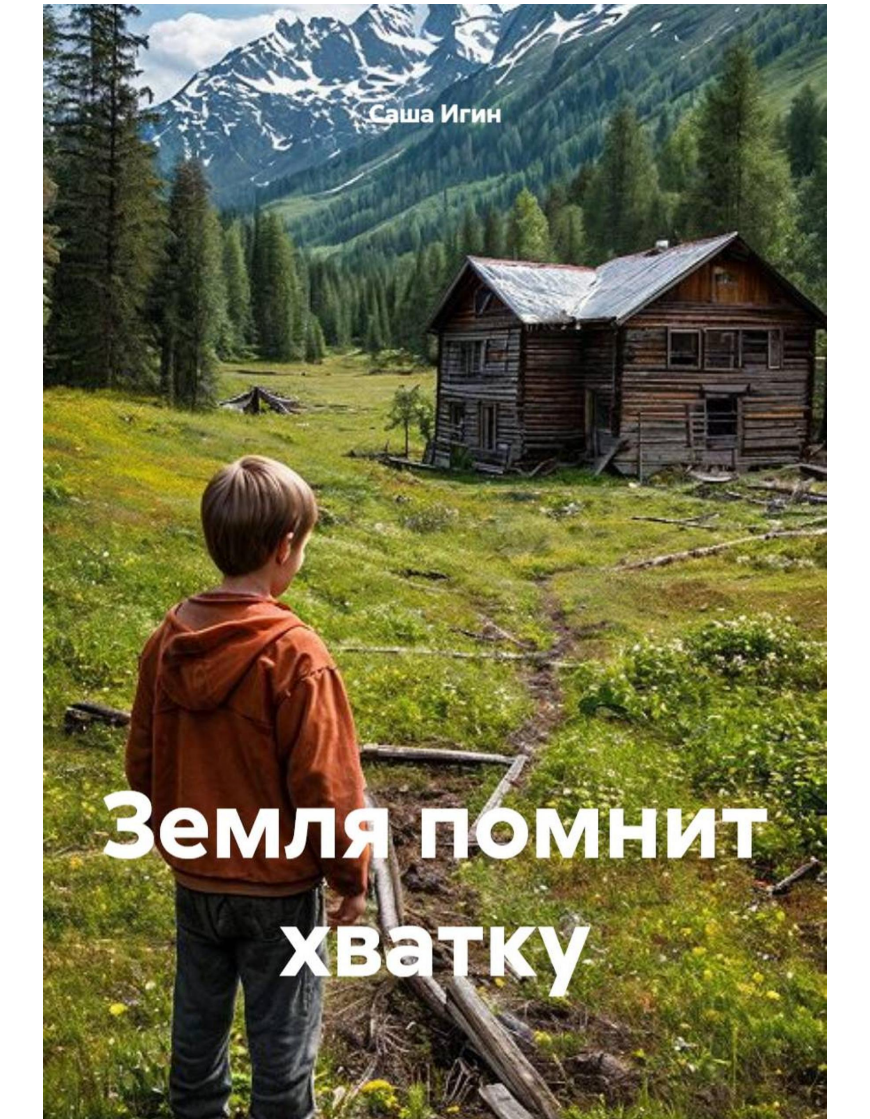


A young boy with short brown hair, wearing an orange hooded sweatshirt and grey pants, stands with his back to the camera in a lush green field. He is looking towards a two-story wooden cabin with a weathered, grey metal roof. The cabin has several windows, some of which are boarded up or missing. In the background, there are dense evergreen forests and large, rugged mountains with patches of snow under a blue sky with scattered clouds.

Саша Игин

Земля помнит хватку

Саша Игин

Земля помнит хватку

<https://litres.ru/74109566>

SelfPub; 2026

Аннотация

Это история о корнях, которые прорастают сквозь бетон.

1948 год, глухая сибирская деревня Камзас. Семилетний Иван Зарягин сжимает и не отпускает руку умирающей матери. Он ещё не знает, что этот жест станет его судьбой — хваткой, которая проведёт его через тайгу, через олимпийские ковры, через славу и забвение.

Иван вырастает в легенду: двукратный олимпийский чемпион, главный тренер сборной СССР. Но цена победы — пустота, которую он пытается утопить в недельном запое после Мюнхена. И голос земли, который он слышит с детства, вдруг замолкает.

Роман в традициях магического реализма — с Огненным Быком, говорящим Медведем, папоротником, растущим на могилах, — рассказывает не только о великом борце. Это история о стране, которая рушится, о людях, которые держат, и о корне, который продолжает расти даже после смерти.

Спустя десятилетия правнук Ивана, Алексей, приходит на ту же поляну, сжимает в кулаке первую медаль и слышит тот же гул. Земля не забывает. Она помнит хватку.

Саша Игин

Земля помнит хватку

ПРОЛОГ. ГОЛОС ЗЕМЛИ

Меня зовут по-разному.

Тайга. Почва. Родная земля. Матушка-сыра-земля. Чёрная жирная грязь, в которой тонут следы и прорастают корни. Угольная пыль, оседающая в лёгких. Таёжный мох, хранящий тепло столетий. Бетонный пол спортивного зала, помнящий тысячи падений. Олимпийский ковёр, впитавший кровь и слёзы.

Я — то, что остаётся, когда всё уходит.

Я — то, что помнит.

Я помню, как в мою глубину упала первая капля пота — солёная, горячая, живая. Как в мою поверхность впились детские пальцы, пытаюсь удержать уходящее тепло материнской ладони. Как мои корни обвили золотые монеты, которые люди называют медалями, и держали их так же бережно, как держат сердца. Я помню все шаги, все падения, все вставания. Я помню хватку.

Хватка — это моя любимая память. Это когда человек не просто касается меня — он *входит* в меня. Он становится моим продолжением. Его пальцы вжимаются в мою плоть, и я чувствую его боль, его страх, его надежду. Я чувствую, как он борется — не с другими, а с собой. Со своей слабостью.

Со своей пустотой. Со своей смертью.

Я помню всех, кто умел держать.

Я помню мальчика, который пришёл ко мне босиком, с разбитыми коленями и горящими глазами. Он упал на мою поверхность и не встал — он лёг, раскинул руки, и я обхватила его, как обхватывают своего. Я почувствовала, как его пальцы впиваются в меня, как он ищет опору, как он кричит беззвучно: «Мама, я держу! Я держу тебя!» Он не знал тогда, что я слышу. Он не знал, что я помню.

Я помню, как он рос. Как его тело становилось сильнее, как его хватка становилась глубже, как он научился слышать мой голос. Я говорила с ним в тайге, на поляне, где сосны стояли как часовые. Я говорила с ним через деда Харлампия — старого человека, который стал моим голосом, моими глазами, моими руками. Я говорила с ним через Огненного Быка — существо из света и жара, которое приходит к тем, кто готов вплетать, а не рвать.

Я помню его победы. Я помню его поражения. Я помню ту ночь в чужом городе, когда он сидел в баре, сжимая бутылку водки, и кричал в пустоту: «Я ничего не слышу! Земля молчит!» Я не молчала. Я говорила, но он не мог слышать, потому что он потерял себя. Он потерял корень. И только когда он упал на колени и прижал ладони к чужой, канадской земле — только тогда я смогла достучаться до него.

«Я здесь, — сказала я. — Я всегда здесь. Ты — мой корень. Ты никогда не будешь один».

Я помню, как он нёс знамя. Красное полотнище, которое развевалось над стадионом, и его руки, сжимающие древко так, что костяшки побелели. Он знал, что кто-то хочет порвать это знамя. Он знал, что на него бегут с ножом. Но он не отпустил. Он держал, как держал меня, как держал мать, как держал жизнь. Он сохранил честь.

Я помню, как он уходил. Не из жизни — из этого мира. Он сидел в машине, на обочине дороги, и я чувствовала, как его сердце замедляется, как его хватка ослабевает. Я кричала ему: «Держи, корень! Держи!» Но он был слишком устал. Он сделал всё, что мог. Он нёс меня сквозь десятилетия, сквозь победы и развалы, сквозь славу и забвение. И когда он отпустил меня — я взяла его. Я приняла его в себя. Я положила его рядом с дедом Харлампием, рядом с матерью, рядом со всеми, кто умел держать.

У меня нет часов, но я считаю время иначе.

Я считаю его корнями. Один корень уходит в 1948 год — туда, где рождается мальчик, которому суждено стать деревом. Другой тянется в 1997-й — туда, где это дерево падает, но не умирает. Третий прорастает в 2026-м — туда, где новый побег встаёт на мою поверхность и сжимает кулаки. Четвёртый тянется в 2052-й — туда, где маленький мальчик сжимает в ладони золотую монету и слышит мой голос.

Я не забываю. Я не могу забыть — у меня нет памяти, как у людей. У меня есть корни. Каждый корень — это нить, которая тянется сквозь века, сквозь уголь, сквозь смерть,

сквозь олимпийские огни. Каждый корень — это хватка. Это обещание. Это продолжение.

Эта история — не о человеке. Эта история — о том, как один корень пророс сквозь бетон, сквозь олимпийские ковры, сквозь развал страны и смерть. И о том, как он продолжает расти, даже когда человека уже нет. О том, как хватка передаётся из рук в руки, из поколения в поколение, из корня в корень.

Я расскажу её вам. Не словами — гулом. Не памятью — хваткой.

Слушайте. Земля говорит.

Меня зовут по-разному. Тайга. Почва. Родная земля. Матушка-сыра-земля.

Я — то, что остаётся.

Я — то, что помнит.

Я — то, что будет помнить всегда.

А теперь — слушайте. Внимательно.

Я расскажу вам о первом захвате.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. КОРЕНЬ ИЗ КАМЗАСА

Глава первая. ПАПОРОТНИКОВЫЙ ЗАПАХ

Здесь, в Камзасе, смерть пахнет папоротником.

Иван запомнил это на всю жизнь — не вонь, не гниль, не забитую избу, где мать лежала уже третьи сутки, глядя в почерневший потолок пустыми глазами, которые видели что-то за пределами этого мира. Нет. Запах был тонкий, сладковато-горький, зеленый — как будто сама тайга прислала по-

сланника, чтобы растворить её кости, волосы, горячку, последний вздох в своем вечном круговороте.

Он впервые почувствовал этот запах за два дня до смерти. Мать вдруг попросила открыть окно — хотя был ноябрь, и за окном стоял лютый мороз, от которого стекла покрывались толстым слоем инея, похожим на кружево. Отец заворчал, заспорил, сказал что-то про чахотку и простуду, но мать посмотрела на него — тем самым взглядом, которым женщины смотрят на мужчин, когда те перестают быть хозяевами положения, — и он открыл. В избу ворвался холод, колючий, как битое стекло, и вместе с ним вошел запах. Сладость. Горечь. Зелень. Папоротник.

Мать вдохнула этот воздух так, будто пила воду. Её иссохшая грудь поднялась, и на миг — только на один миг! — щеки её порозовели. Она улыбнулась. Впервые за месяц.

— Ты чувствуешь, Ваня? — спросила она. Голос её был тонкий, как лезвие, но в нем была сила. Сила уходящего, сила последнего, сила той самой черты, за которой уже не дышат. — Это лес зовет. Это он говорит мне: «Иди, Прасковья, иди. Здесь тебе тесно. Я приготовил тебе место».

Иван не понял тогда. Он замотал головой, зажал нос, закричал: «Зачем ты это нюхаешь? Это плохо пахнет!» Пахло как папоротник, который он рвал прошлым летом на болоте — тот самый папоротник, от которого у него чесались руки и слезились глаза. Он ненавидел этот запах. Он боялся его.

А мать засмеялась. Тонко, прозрачно, не своим смехом.

— Плохо, говоришь? — прошептала она. — Нет, Ваня. Хорошо. Это хорошо. Ты вырастешь — поймешь.

Она не сказала больше ни слова. Легла на спину, сложила руки на груди, как уже мертвая, и закрыла глаза. А окно осталось открытым. И запах остался. Он заполнил избу, вытесняя запах угля, кислого хлеба, прокисшего молока, мужского пота — он был сильнее всего. Он был сильнее самой жизни.

Ивану было семь лет. Он стоял на коленях у изголовья, сжимал её левую руку — уже холодную, уже не отвечающую на сжатие, — и пытался *удержать*. Мальчик не знал, что именно он удерживает. Душу? Жизнь? Тепло, уходящее в доски пола, в сырую глину под домом, в корни старой березы за окном?

Он просто сжимал. Изо всей силы. Его детские пальцы — короткие, толстые, уже тогда неестественно мощные для семилетнего — впивались в материнскую ладонь, оставляя белые пятна на бледной коже. Он сжимал так, будто если не отпустит, она не уйдет. Будто хватка может победить смерть.

Он сжимал и шептал. Что-то бессвязное, детское, молитвенное — но не Богу, нет, он не знал тогда молитв, он знал только то, что внутри него, в груди, в животе, в кулаках, есть что-то горячее и живое, что можно отдать, передать, вдохнуть в нее. Он шептал: «Мама, дыши. Мама, сожми. Мама, я держу. Я держу тебя». Он гладил её костяшки — такие острые, такие сухие, такие уже *не её*.

Отец стоял в дверях, прислонившись плечом к косяку. Он не подходил. Он боялся. Сильный, черный, пропахший шахтой мужчина боялся подойти к собственной жене, потому что знал — если подойдет, то сломается. Он стоял и смотрел, как сын пытается удержать свет, уходящий из их дома, и молчал.

А потом мать открыла глаза.

Она сделала это резко, рывком — так, как делают проснувшиеся от кошмара, как делают утопающие, когда нащупывают дно. Её глаза были уже мутные, покрытые той белесой пленкой, которая появляется у самых старых, у самых уставших — но они смотрели, они видели. Они видели Ивана.

— Ваня, — выдохнула она. — Ванюшка...

Это было последнее слово. Не «сын», не «прощай», не «помни». Просто его имя. Она сказала его так, как будто это было заклинание, талисман, который она передавала ему вместе с дыханием. Как будто она вкладывала в это имя всю свою жизнь — всю, до последней капли. Семь лет счастья. Семь лет мук. Семь лет, в которые она любила, и варила, и стирала, и ждала, и боялась, и верила, и вставала в четыре утра, чтобы затопить печь, и ложилась в полночь, чтобы перешить ему штаны из отцовской старой робы, и каждую ночь вставала к нему, когда ему снились кошмары — и он не помнил этого, он был слишком мал, чтобы помнить. Но она помнила.

И она вложила всё это в одно слово.

— Ванюшка...

И потом воздух вышел из нее — весь, до последнего пузырька, — и в избе стало тихо. Так тихо, что Иван слышал, как грызут стену мыши. Как капает с крыши талый снег. Как в печи догорают угли, и они шепчутся, как старые шахтеры после смены. Как бьется его собственное сердце — гулко, тяжело, словно оно уже не принадлежало ему, словно оно билось за двоих.

Отец шагнул вперед. Наконец. Он подошел к постели, посмотрел на жену, на её закрытые глаза, на её руки, сложенные на груди — и вдруг упал на колени. Такой большой, такой черный, такой тяжелый — упал, как подкошенный. Он уткнулся лбом в её ноги и зарыдал. Негромко, надсадно, так, как плачут медведи в капканах. Звук был утробный, низкий, похожий на вой ветра в шахте.

Иван смотрел на это и не понимал. Отец не плакал. Отец был железным. Отец возвращался домой с угольной пылью в легких, с черными кругами под глазами, с руками, которые сжимались в кулаки при одном только слове «начальник» — и он никогда не плакал. А теперь он плакал, и это было страшнее, чем мать, чем тишина, чем запах папоротника.

— Отпусти, Ваня, — сказал отец, не поднимая головы. Голос его был сухой, как щепка, как угольная крошка, как земля на могилах. — Она уже ушла. Отпусти её руку.

Но Иван не отпустил. Он сидел так до вечера, до ночи, до тех пор, пока его пальцы не свело судорогой, пока в ладони не застыла боль, похожая на ожог. Он сидел, пока соседки — старухи в черных платках, с руками, пахнущими пирогами и лампадным маслом — не оттащили его силой. Четверо бабкок тянули его, уговаривали, крестились, и только когда одна из них — тетка Фрося, самая сильная, самая громкая — схватила его за ухо и прикрикнула по-военному, он разжал пальцы.

И заорал.

Он не заплакал — он заорал. Так орут звери, когда у них отнимают детенышей. Так орут сосны, когда их рубят под корень. Так орет земля, когда в неё вонзают лопаты. Он орал, пока не охрип, пока голос его не стал хриплым, как у старого пьяницы, пока в горле не появился вкус крови. Бабка Полина — та, что жила через два дома, та, что лечила всех травами и заговорами — сунула ему в рот тряпку, смоченную в молоке. И он укусил её за палец до крови. До хруста кости. До визга.

— Бесноватый, — прошептала Полина, вырывая руку. — Бесноватый растет.

Отец подошел к нему. Посмотрел на сына — на его мокрое от слез и слюны лицо, на его сведенные судорогой пальцы, на его глаза, в которых еще горел тот самый свет, который он пытался удержать. Отец не стал его успокаивать. Он просто разжал ему челюсть — двумя пальцами, как щипцами — и сказал:

— Спи. Завтра хоронить будем.

И Иван заснул. Прямо на полу, прямо в той луже слез и слюны, прямо в этом запахе папоротника, который уже начал выветриваться, растворяться, уступать место запаху смерти — сырой, тяжелой, похожей на гнилую картошку. Но он помнил.

Он помнил сладость. Он помнил горечь. Он помнил зелень.

Похороны были на второй день. Земля в Камзасе — проклятая земля, вечная мерзлота в перемешку с угольной крошкой — не хотела принимать тело. Лопаты звякали о лед, мужики ругались, курили, сплевывали черную слюну. Гроб был сколочен наспех из сосновых досок, которые еще пахли смолой. Мать лежала в нем, одетая в то самое платье — ситцевое, в мелкий белый горошек, которое она берегла для праздников, которое пахло мылом и солнцем. Теперь оно пахло папоротником.

Иван стоял у ямы и смотрел, как гроб опускают в эту черную пасть. Веревки скользили, гроб качнулся, и на мгновение Ивану показалось, что он сейчас опрокинется, что мать выпадет из сосновых досок и упадет лицом в эту холодную, каменистую землю. Но мужики удержали. Опустили ровно. Стукнули о дно — глухо, сыто, как будто земля обрадовалась добыче.

Ему казалось, что земля жадная. Она хотела не просто тело — она хотела запах. Она хотела тепло. Она хотела всё, что

было в матери живого, и она забирала это сейчас, медленно, с наслаждением. Он видел, как комья земли падают на сосновую крышку, и каждый ком отдавался у него в груди ударом. Каждый ком забирал у него воздух. Каждый ком был предательством.

Кто-то бросил горсть земли — он не видел кто. Кто-то сказал «Царствие Небесное» — он не слышал голоса. Кто-то отвел его за руку от края могилы — но он сопротивлялся. Вцепился в руку соседки, впился ногтями, оставил красные полосы на её запястье. Она вскрикнула, отдернула руку, и он остался стоять. Один. У края. Смотрел, как засыпают яму.

— Сынок, отойди, — сказал кто-то. — Сынок, нельзя так стоять. Земля холодная. Она тебя к себе притянет.

Но он не отошел. Он стоял до тех пор, пока могильщики не утрамбовали холмик лопатами, пока не воткнули деревянный крест, пока бабки не начали расходиться по домам, шепча и оглядываясь на него. Он стоял, пока отец не подошел сзади и не положил руку ему на плечо. Тяжелую, черную, пахнущую углем.

— Пошли домой, — сказал отец. — Домой, Ваня.

И он пошел. Но оглянулся. И крест показался ему не крестом, а человеческой фигурой, стоящей на коленях, с раскинутыми руками — в мольбе. И земля под ним гудела.

Он слышал это тогда впервые. Гул. Тяжелый, низкий, как удар в колокол, только под землей. Он остановился, прислушался. Отец дернул его за руку.

— Что ты?

— Земля гудит, — сказал Иван.

Отец посмотрел на него, нахмурился. И сказал:

— Это ветер в шахте. Пойдем.

Но Иван знал: это не ветер. Это она. Это мать. Она учила его слушать, когда он был маленьким. Она ложилась с ним на землю летом, на траву, и говорила: «Закрой глаза, Ваня. Положи ухо на землю. Слышишь? Она живая. Она говорит. Она рассказывает сказки, которые даже деды наши не знают. Она помнит всё. Каждое семечко. Каждую дождинку. Каждый след».

Он слушал тогда и слышал тишину. А теперь он слышал гул.

Земля помнила её. Она помнила и звала обратно.

А через три дня после похорон в деревню пришел Медведь.

На самом деле его звали дед Харламий. Но все дети — а за ними и взрослые — звали его просто Медведь. Он жил на отшибе, в избушке, которая стояла на самом краю тайги, почти у реки, и никто не знал, сколько ему лет. Говорили — сто. Говорили — двести. Говорили — он видел самого Ермака, но это уже было вранье, потому что дед Харламий смеялся, когда такое рассказывали, и от его смеха у детей бежали мурашки по спине.

Он был огромный. Даже в старости. Сутулый, с кривыми ногами, с руками, покрытыми седой шерстью — нет, не шер-

стью, это просто так казалось из-за густых волос на его предплечьях, которые никто никогда не видел обнаженными. Лицо его было изрыто морщинами, как кора старой лиственницы, и в каждой морщине пряталась тайга. Глаза у него были разные: один карий, почти черный, а второй — светло-серый, как речной камень. Говорили, что он видел этим глазом то, что происходит на том свете, и поэтому никогда не надевает шапку — чтобы духи могли заглядывать ему в голову.

Он всегда пах мхом и дымом. Не так, как пахнут костры, — нет. Он пах так, как пахнет сама земля после дождя, когда из нее вылезают грибы и черви, и древние корни. И еще он пах папоротником. Тонко, едва уловимо, но если подойти близко — можно было почувствовать.

Дети его боялись. Взрослые уважали. Никто не знал, чем он занимается — не охотился вроде, не рыбачил, не рубил лес, но всегда был сыт, всегда был одет, всегда был спокоен. Говорили, он знает язык зверей. Говорили, он лечит травами так, что больные встают через день. Говорили, он проклят — за то, что убил медведицу, и теперь его душа не может уйти в рай, пока он не научит кого-то танцевать с медведями.

Иван не знал, правда, это или нет. Он слышал много историй, но не верил ни одной — потому что в семь лет он уже знал, что люди врут. Они ввали про жизнь. Они ввали про смерть. Они ввали про то, что мама ушла в рай, потому что на самом деле она была здесь, в земле, в этом черном, пахнущем углем и папоротником холмике, и она была *здесь*, а

не там.

Он нашел деда Харлампия у реки. Иван сидел на камне, глядя в воду, и не плакал — он просто сидел, сжимая и разжимая кулаки. Левая ладонь все еще помнила тепло матери. Или холод. Или то, что между ними. Вода перед ним была мутная, осенняя, несла в себе глину, песок, прошлогодние листья — она несла в себе весь Камзас, всю тайгу, весь этот мир, который продолжается, даже когда ты хочешь, чтобы он остановился.

— Слышь, малый, — сказал дед Харлампий, подходя сзади. Он не шумел, хотя весил, наверное, под центнер. Он подходил так, как подходит зверь. — Ты чего воду мутишь? Она и так мутится. Ты её глаза засоряешь. Она тебя видеть не будет.

Иван поднял голову. Он не испугался. В нем уже не было страха — смерть выжгла его, как выжигают траву на поле.

— Мама умерла, — сказал он. Просто. Без слез. Как будто говорил о погоде. — Она там. В земле.

— Знаю, — кивнул дед. Он сел на соседний камень — тяжело, со скрипом, как будто у него болели все кости. — Я пришел душу забирать.

Иван вскочил. Кулаки его сжались сами собой — не для удара, нет, для *захвата*. Он сжал их так, что ногти впились в ладони, оставляя кровавые полумесяцы. Он смотрел на старика, и в нем вдруг поднялось что-то темное, древнее, что жило в нем глубже, чем детский страх, глубже, чем боль,

глубже, чем даже любовь к матери.

Он не знал, что это такое. Он не знал, откуда это взялось. Но он чувствовал, как это растет внутри него — как корень, который пробивает асфальт. Это была сила, которую он не мог назвать. Это был гнев, который он не мог обуздать. Это была хватка, которая не умела отпускать.

— Не отдам, — сказал он. Голос его был низким — слишком низким для семилетнего. Он прозвучал как рык.

Дед Харламбий посмотрел на него. Долго. Так смотрят только таежники — когда они оценивают дичь, но не для того, чтобы убить, а для того, чтобы понять: *твой ли ты зверь или чужой*. Он смотрел в глаза Ивану, и в его разном цвете глазах — карим и сером — отражалась вода, и небо, и тайга.

— А ты попробуй, — сказал он. И улыбнулся. Улыбка у него была страшная — щербатая, с темными провалами, с желтыми зубами, но в ней не было злобы. В ней было что-то другое. Что-то похожее на радость. — Попробуй, малый. Забери. Я без души уйду.

Иван шагнул вперед. Он не знал, что делает. Он просто сделал шаг — и ухватил старика за рукав. Пальцы его впились в грубую ткань так, что слышно было, как трещит сукно. Он сжал — изо всей силы, изо всей той ярости, что накопилась в нем за эти три дня, за эти семь лет, за всю его короткую жизнь, в которой уже было столько смерти, сколько не видели другие за всю свою.

Он сжал так, как сжимал руку матери. Он сжал так, как

сжимал край гроба, когда его оттаскивали. Он сжал так, как сжимают корни деревьев, когда их пытаются вырвать из земли.

Дед Харламбий крикнул. Не от боли — он был слишком старый, чтобы чувствовать боль от хватки мальчика. Он крикнул от удивления.

— Ох, ты, — сказал он. — Ох ты, милый... — Он наклонился к Ивану, и мальчик вдруг почувствовал, что от старика пахнет не мхом. Не дымом. Пахло папоротником.

Сладко-горько. Зелено. Тонко.

— Откуда? — прошептал Иван. Руки его ослабли. Пальцы разжались. Он смотрел на старика, и в глазах его стояли слезы. — Откуда у тебя этот запах?

Дед Харламбий вздохнул. Глубоко. Так, как будто впускал в себя воздух, которым дышали все мертвые этого мира.

— У меня все запахи, — ответил он. — Я собираю их. Я живу среди них. Твоя мать отдала мне свой запах перед тем, как уйти. Она сказала: «Дед, передай Ивану. Пусть запомнит. Пусть носит с собой. Пусть знает — я всегда рядом, даже когда меня нет».

И тогда Иван заплакал. В первый раз за все эти дни. Он разжал кулаки — словно что-то лопнуло в его груди, словно какая-то струна, натянутая до предела, вдруг отпустила, — и упал на колени. Он плакал так, как плачут дети, когда их прощают. Когда их видят. Когда с них снимают груз, который они носили, сами не зная как.

Дед Харламбий сел рядом с ним на мокрую землю, обнял его — медвежьей, тяжелой, волосатой рукой — и прижал к себе. От его одежды пахло тайгой, дымом, папоротником — мамой. И Иван уткнулся в его грудь и плакал, плакал, пока не кончились слезы, пока не кончился воздух, пока не кончилась боль.

— Запомни, Ваня, — шептал старик. Голос его был низкий, гулкий, как тот самый звук, который шел из земли. — Смерть забирает тело. Но не хватку. Если ты умеешь держать, ты держишь вечно. Ты теперь должен держать. Всю жизнь. Держать память. Держать любовь. Держать эту землю. Понял?

Иван кивнул. Он не понял тогда — по-настоящему. Слова были слишком большими для его детской головы, слишком тяжелыми, как камни. Но он запомнил их. Каждое. Он запомнил даже интонации, даже паузы, даже то, как старик выдыхал слово «держать» — с хрипом, с болью, с любовью.

Он запомнил всё.

И в этот момент из-за деревьев кто-то вышел. Или не кто-то. Что-то.

В тот вечер дед Харламбий отвел его в тайгу. Не глубоко, на полверсты от деревни, туда, где заканчивались поля, и начинался лес — такой густой, что даже днем там был вечный сумрак. Они шли по тропе, которую Иван никогда не видел, хотя знал каждый куст вокруг Камзаса. Трава здесь была выше его роста, пахла полынью и чем-то кислым, и ветер не

проникал сюда — было тихо, глухо, как внутри большой пещеры.

— Это место особенное, — сказал дед. — Я сам его нашел, когда был мальчишкой. Тут земля не такая, как везде. Тут земля — живая.

Они вышли на поляну. Круглую, идеально ровную, окруженную высокими соснами — не просто соснами, а какими-то перекрученными, старыми, в шрамах от молний, с корнями, вылезающими из земли, как пальцы утопленников. Земля под ногами была черной, жирной, пахла прелым листом и грибами, но при этом была твердой — тверже, чем глина на деревенской улице. Мальчик ступил на неё босой ногой и почувствовал: земля *гудит*.

Не вибрация. Не звук. Глухое, низкое, древнее гудение, которое шло откуда-то из глубины, из самой сердцевины планеты. Как будто под этой поляной спал великан и дышал во сне.

— Что это? — спросил Иван. Он сжал кулаки — по привычке, от страха. Но страх был не тем, обычным. Это был страх перед чем-то великим, перед чем-то, что больше его.

— Тайга дышит, — ответил дед. — А ты должен научиться дышать с ней в такт. Иначе она тебя сломает. Иначе она тебя проглотит, как проглотила твою мать. Но если ты научишься — она станет твоей. Она будет держать тебя. Так же, как ты держишь её.

И начался первый урок.

Дед Харлампый не учил его драться. Он учил его *падать*. Три часа подряд мальчик падал на твердую, гудящую землю. Вставать. Падать снова. Вставать. Дед ставил его на колени, на спину, на живот, на плечи. Он разворачивал его тело, как тряпичную куклу, и бросал на землю, и Иван вставал, сжимая кулаки, с красными от грязи и ссадин коленями, и снова шел на старика.

— Ты не умеешь падать, — говорил дед. — Ты падаешь как тряпка. Слышишь, как ты шлепаешься? Как мешок с картошкой. А надо падать как корень. Когда корень падает, он цепляется за землю. Он не отдается ей. Он берет её с собой. Он вплетается в неё.

Иван падал и снова вставал. Колени его были разбиты в кровь, локти стерты до мяса, спина ныла от каждого удара о твердую, как камень, землю. Он хотел плакать. Он хотел убежать. Он хотел найти отца, зарыться в его черную грудь и забыться, как забываются дети во сне.

Но он не убежал.

Потому что в каждой паузе, в каждом перерыве, когда он лежал на спине, хватая ртом воздух, он слышал гул. Земля гудела. Она говорила. Она шептала ему что-то, и он не понимал слов, но понимал смысл: *не сдавайся. Ты мой. Ты — мой корень. Я тебя не отпущу.*

И он вставал. И снова шел на деда. И снова падал.

На четвертом часу он упал и не встал. Не мог. Тело отказывалось подчиняться. Руки дрожали, ноги тряслись, во рту

был вкус железа — он прокусил губу, когда ударился лицом о землю. Он лежал на спине, глядя в черное небо, где уже загорались первые звезды, и вдруг почувствовал, как земля под ним изменилась.

Она перестала быть твердой. Она стала мягкой, податливой, как живая. Она обхватывала его спину, как руки матери. Она втекала в него через кожу, через раны, через каждую ссадину — и он чувствовал, как она наполняет его. Как она становится частью него. Как он становится частью неё.

И тогда он понял.

Не умом — телом. Не словами — кожей. Он понял, что падать — это не значит сдаваться. Падать — это значит *цепляться*. Падать — это значит укореняться. Падать — это значит становиться сильнее.

Он лег, раскинув руки, и сжал пальцами землю так, как сжимал материнскую ладонь четыре дня назад. Сжал так сильно, что земля вдавилась под его ногти, заполнила каждую трещинку, каждую линию на его ладонях. Она въелась в него, как татуировка. Как клеймо. Как судьба.

И земля сжала его в ответ.

Он почувствовал, как под ним что-то шевельнулось. Не червяк, не корень — что-то большое, огромное, спящее. Оно повернулось к нему, и он почувствовал его дыхание — горячее, влажное, пахнущее серой и древностью.

— Хорошо, — сказал дед Харламбий. Он стоял над ним, и его разноглазое лицо было серьезным, почти печальным.

— Ты понял. Ты первый, кто понял так быстро. За семь лет. Ты — особенный, Ваня. Ты — корень. Ты не сломаешься.

И в этот момент Иван увидел.

Из-за деревьев вышло пламя. Нет, не огонь — не пожар, не костер. Это было существо из света и жара, огромное, как изба, с рогами, которые горели красным, и глазами, в которых тлели угли. Оно смотрело на мальчика, лежащего на земле, и земля под ним завибрировала сильнее. Сосны вокруг закрипели, застонали, и с них посыпалась хвоя — сухая, колючая, она ложилась вокруг него, как дары.

— Это Огненный Бык, — прошептал дед. Он стоял на коленях — впервые Иван видел, чтобы старик стоял на коленях. — Он приходит к тем, кто умеет слушать землю. К тем, кто умеет держать. Не бойся. Он не причинит тебе зла. Он хочет тебя видеть.

Иван не боялся. У него не осталось сил на страх. Он смотрел в глаза Быка, и в них не было угрозы. В них была тяжесть — та самая тяжесть, которую он чувствовал в ладони матери, когда её тепло уходило. Он смотрел в них и видел: они знают его. Они знали его до того, как он родился. До того, как его деды родились. До того, как люди пришли в эту тайгу и начали рубить деревья и копать уголь.

Бык открыл пасть, и оттуда вырвался не рев, а низкий, гулкий голос, от которого у Ивана заложило уши — и в то же время этот голос прозвучал внутри него, в груди, в животе, в каждом позвонке:

— Твоя хватка — это корни тайги. Не рви их, Иван. Вплетай.

Зверь шагнул вперед. От его копыт земля трескалась, и из трещин били тонкие струйки пара, пахнувшие серой и весенним снегом. Он наклонил голову, и его рога коснулись груди мальчика — не обожгли, не проткнули, а просто коснулись, как благословение. Как печать. И Иван почувствовал: внутри него загорелся огонь. Не боль. Не жар. Огонь, который сжигал страх. Огонь, который зажигал силу. Огонь, который делал его тем, кем он должен был стать.

— Вплетай, — повторил Бык. — Каждую схватку. Каждый захват. Ты не рвешь соперника. Ты вплетаешь его в свою землю. Понял?

— Понял, — выдохнул Иван.

— Тогда иди. Живи. Держи. Не отпускай. Ты — мой корень. Я — твоя земля. Мы — одно.

Зверь исчез так же внезапно, как появился. Просто растворился в воздухе, оставив после себя запах грозы и горячего металла — и вместе с этим запахом исчезла тяжесть. Иван лежал на земле, сжимая в кулаках горсти черной, пахнущей папоротником почвы, и плакал — тихо, беззвучно, так, что только дед Харлампий мог слышать.

— Кто он? — спросил мальчик, не открывая глаз. — Кто он, дед?

— Дух тайги, — ответил дед. Он сел рядом, тяжело, со стоном. — Он приходит к каждому, кто ищет силу. Но не

всем она дается. Тебе — далась. Теперь ты должен её нести. И не сломаться. Слышишь, Ваня? Не сломаться. Даже когда будет трудно. Даже когда будет больно. Даже когда ты останешься один.

Дед помог ему встать. Иван высыпал землю из ладоней, но она не высыпалась до конца — часть её прилипла к коже, въелась в линии руки, в сгибы пальцев. Она была там, как татуировка. Как клеймо. Как напоминание о том, что он видел, и том, что он слышал.

— Завтра придешь снова, — сказал дед Харлампый. — И каждый день. Пока не научишься падать так, чтобы земля тебя держала. Пока не научишься держать так, чтобы земля тебя не отпускала. Это будет долго. Это будет тяжело. Но ты справишься. Ты — корень.

Они пошли обратно в деревню. Луна висела над тайгой — круглая, тяжелая, желтая, как олимпийская медаль, которую мальчик не мог себе даже представить. Она висела низко, почти над самыми верхушками сосен, и её свет падал на поляну, на следы их борьбы, на вмятины в земле, которые уже начинали затягиваться — заживать, как живут шрамы.

Иван шел и чувствовал, как меняется его тело. Как земля, въевшаяся в его ладони, начинает пульсировать. Как внутри него что-то растет — не мышцы, не кости, а что-то другое, что-то невидимое, но осязаемое. Что-то, что тянуло его вниз, к корням, к углю, к тому самому гулу, который он слышал под землей.

Он был корнем. Теперь он это знал.

Дома отец уже спал, пьяный и черный от угольной пыли. Он лежал на лавке, раскинув руки, и храпел так, что тряслись стены. Иван прошел мимо него, не разбудив, и лег на печь, на теплое место, где мать когда-то грела его ноги. Он сжал кулаки. Земля в них была — черная, жирная, пахнущая корнями. Он разжал ладони и посмотрел на них. Линии руки были забиты землей — глубоко, до самой крови. Он попытался выковырять её ногтем, но она не выходила. Она стала частью его.

Он заснул, держа её.

И во сне ему приснился Медведь. Не дед Харлампий. Настоящий, огромный, бурый зверь, который стоял на задних лапах и смотрел на него умными человеческими глазами. И в этих глазах не было ни злобы, ни страха. Только ожидание. Только знание. Только мудрость, которая старше всех людей этого мира.

— Выходи, — сказал Медведь. — Выходи на ковер. Там тебя ждут. Там тебя не забудут.

— Кто ждет? — спросил Иван во сне.

— Все, — ответил Медведь. — Все, кто умеет держать. Все, кто не отпускает. Все, кто знает: хватка — это не сила рук. Это сила души. Выходи, Ваня. Выходи. И не бойся. Я с тобой.

И Иван вышел. На поляну. В темноту. Навстречу тому, что ждало его впереди — через годы, через континенты, че-

рез олимпийские огни и могильные холмики.

Он вышел и сделал свой первый захват.

Земля помнит хватку. Она не забывает ни одной. Она хранит их в себе — следы детских пальцев, вцепившихся в материнскую ладонь; отпечатки босых ног на таежной поляне; пыль, поднятую первым падением. Она помнит и ту ночь, когда мальчик нашел свой первый захват — не за руку, не за тело, а за самую жизнь.

И она будет помнить его до тех пор, пока стоит Камзас. Пока сосны шепчут свои древние сказки. Пока уголь дышит под землей. Пока в тайге живут медведи, а в небе летят звезды.

Потому что каждый, кто умеет держать, оставляет на ней свой след.

Навсегда.

Глава вторая. УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ

После той ночи Иван изменился.

Отец заметил это не сразу — он был слишком занят шахтой, слишком занят своей черной тоской, слишком занят тем, чтобы напиваться до беспамятства каждый вечер и засыпать лицом в стол, оставляя на неструганных досках мокрые пятна. Но соседи заметили. Бабка Полина, та самая, которую Иван укусил до крови, первая заговорила:

— Бес в него вселился. Глаза горят, как у волчонка. Никого не боится. Утром уходит в тайгу, вечером приходит — весь в ссадинах, в грязи, а улыбается. Улыбается, Прокоп!

Ты видел, чтобы твой сын улыбался после похорон?

Прокоп, отец Ивана, только хмурился и отворачивался. Он не хотел видеть. Он не хотел знать. Он хотел одного — чтобы его оставили в покое, чтобы дали ему пить, чтобы дали ему забыть.

Но Иван не давал забыть.

Он приходил домой каждый вечер — грязный, мокрый, сбитый, с разбитыми коленями и стертыми ладонями, и пахло от него не тайгой, нет, а чем-то другим. Чем-то древним. Чем-то тяжелым. Пахло так, как пахнет земля во время грозы — до дождя, когда воздух становится плотным, как ртуть, и кажется, что вот-вот расколется небо.

Прокоп молчал. Он наливал сыну суп — картофельный, жидкий, без мяса, — ставил на стол краюху черного хлеба и молчал. Иван ел быстро, жадно, как волчонок, и сразу ложился спать — на печь, на мамино место, на ту самую теплую лежанку, где она когда-то рассказывала ему сказки.

И каждую ночь ему снились сны.

Сны были странные. Не детские — не про конфеты, не про игрушки, не про то, как он бежит по полю с другими мальчишками. Ему снилась тайга. Глубокая, бесконечная, где деревья уходят в самое небо, а корни уходят в самое сердце земли. Ему снились звери — волки, которые смотрели на него без страха; лоси, которые подходили близко и обнюхивали его; и Медведь.

Медведь приходил каждую ночь. Огромный, бурый, с гла-

зами, которые знали всё. Он выходил из-за деревьев, садился на задние лапы и смотрел на Ивана. Иногда он говорил. Иногда молчал. Но его молчание было громче слов — в нем была правда. В нем была сила. В нем был тот самый гул, который Иван слышал, когда лежал на поляне.

— Ты боишься меня? — спросил Медведь в первую ночь.

— Нет, — ответил Иван. И это была правда. Он не боялся. Он чувствовал, что этот зверь — часть его. Часть той земли, которую он сжимал в кулаках.

— Хорошо, — сказал Медведь. — Страх — это слабость. А слабость убивает. Запомни: на ковре нет страха. Есть только хватка. Или ты держишь, или ты летишь. Третьего не дано.

— Что такое ковер? — спросил Иван.

Медведь улыбнулся. Да, он улыбнулся — его огромная пасть растянулась, обнажая желтые клыки, но в этой улыбке не было угрозы. В ней была печаль. Такая же, как у деда Харлампия, когда он говорил о смерти.

— Ковер — это место, где ты становишься собой, — ответил Медведь. — Там нет лжи. Нет масок. Там только ты и другой. И земля под вами. Ты будешь на нем. И будешь побеждать. Но запомни: победа не главное. Главное — не потерять себя. Главное — не порвать корни.

Иван просыпался с этими словами. Они звучали в его голове, как эхо, как тот самый гул, который не уходил даже днем. Он вставал, одевался, брал краюху хлеба — и уходил

в тайгу.

Дед Харламбий ждал его на поляне. Каждый день. В любую погоду — в снег, в дождь, в мороз, в туман. Он стоял у края круга, опершись на свою суковатую палку, и смотрел, как Иван идет к нему через лес.

— Доброе утро, Ваня, — говорил он. — Ты готов?

И Иван кивал. Он всегда был готов. Он скидывал тулуп, оставаясь в одной рубашке, и выходил на середину поляны. Земля под ногами гудела — каждый раз, каждый день, каждую минуту, когда он ступал на этот круг.

Она знала его. Она ждала его. Она была его ковром.

— Сегодня мы будем учиться стоять, — сказал дед Харламбий на третий день. — Не падать. Стоять. Ты думаешь, это просто? Нет, Ваня. Стоять труднее, чем падать. Падать можно всегда. Падать — это легко. А стоять — это борьба. С каждой секундой. С каждым дыханием. С каждым движением земли под тобой.

И он начал.

Он ставил Ивана на одну ногу. И толкал. Легко, почти невесомо — но Иван падал. Он падал снова и снова, и земля принимала его, обхватывала, шептала: «Вставай, корень. Вставай». Он вставал и снова падал.

— Ты не чувствуешь землю, — говорил дед. — Ты на неё давишь. А надо чувствовать, как она дышит. Стой, как стоит сосна. У неё нет одной ноги — у неё есть корни. Ты должен стать корнем. Чувствуешь?

Иван чувствовал. Не сразу. На десятый раз. На двадцатый. На пятидесятый. Он вдруг понял, что если не напрягаться, если отпустить тело, если довериться земле — она держит. Она сама держит. Она не дает упасть. Она поднимает его снизу, как руки матери, когда он был маленьким.

— Да, — сказал дед. — Да. Ты понял. Теперь держи это. Не отпускай.

И Иван держал. Он стоял на одной ноге, раскинув руки, закрыв глаза, и чувствовал, как земля под ним пульсирует. Она была живая. Она была тёплая. Она была его.

Он стоял час. Два. Три. Солнце прошло над поляной, тени от сосен переползли с одной стороны на другую, и Иван все стоял. Он не двигался. Он стал частью земли.

Дед Харлампович смотрел на него, и в его разном цвете глазах стояли слезы.

— Ты — первый, — прошептал он. — Я учил многих. Но ты — первый.

Шли недели. Зима накрыла Камзас снегом — глубоким, сыпучим, белым, как молоко. Морозы стояли такие, что птицы падали на лету, замерзшие, и лежали на снегу, как маленькие камешки. Но Иван ходил в тайгу каждый день. Он пробивал тропу в сугробах, и снег скрипел под его валенками, как старые кости.

Дед Харлампович ждал его у поляны. Он стоял в своем тулупе, подпоясанном веревкой, с палкой в руке, и дышал паром, как сказочный зверь.

— Сегодня, — сказал он однажды, — мы научимся не бояться боли.

Он скинул тулуп. Под ним не было рубахи — его торс был голый, покрытый седой шерстью и шрамами. Шрамы покрывали его тело, как карта неизведанной страны — длинные, короткие, глубокие, поверхностные, белые и розовые, некоторые из них были старше самого Ивана.

— Видишь? — спросил дед. — Это мои уроки. Каждый шрам — это то, что я не удержал. Но я остался жив. Потому что я научился держать боль. Не бороться с ней. Не убегать. Держать.

Он подошел к сосне, растущей на краю поляны, и ударил по ней кулаком. Сосна вздрогнула, с неё посыпался снег, и в стволе осталась вмятина. Кровь потекла по руке старика, капая на снег, и снег под ней зашипел, как будто был живым.

— Теперь ты, — сказал он.

Иван подошел к сосне. Он сжал кулак. В детском теле, в семилетнем теле, еще не было силы — но было что-то другое. Была та самая хватка, которая жила внутри него. Он ударил. Кора впилась ему в костяшки, рассекла кожу, и боль взорвалась в его руке, как крошечная бомба. Он зашипел, отдернул руку, посмотрел на кровь.

— Еще, — сказал дед.

Иван ударил снова. И снова. И снова. Сосна стонала под его ударами, как живое существо, и снег падал с веток, и кровь смешивалась с корой, и боль в руке стала привычной,

стала родной, стала частью его.

— Хорошо, — сказал дед. — Теперь ты знаешь, что такое боль. Ты её держишь. Ты её принял. Она не властна над тобой.

Иван смотрел на свою руку — разбитую, кровоточащую, но не дрожащую. Боль была. Но она не имела значения. Важно было только одно: он ударил и не остановился.

— А теперь, — сказал дед, — научимся, что такое честная борьба. Настоящая. Когда ты не просто дерешься, а когда ты вплетаешь соперника в свою землю.

Он позвал Ивана к центру поляны. Встал напротив него — огромный, как скала, покрытый шрамами, пахнущий мхом и дымом.

— Возьми меня, — сказал он. — Захвати. Как ты захватил мою руку у реки. Но теперь не отпускай. Держи.

Иван шагнул вперед и обхватил старика за пояс. Его пальцы вцепились в кожу, покрытую волосами, и он сжал — изо всей силы. Дед не двинулся. Он стоял, как утес, как вековая сосна, как сама тайга.

— Слабовато, — сказал он. — Ты держишь кожу. А надо держать кости. Надо войти внутрь. Надо стать частью того, кого держишь. Не захват — это не хватка. Захват — это когда ты чувствуешь его дыхание внутри себя. Когда ты знаешь, куда он шагнет, за секунду до того, как он шагнет.

Иван зажмурился. Он сосредоточился. Он перестал думать руками — он начал думать всем телом. Он начал чув-

ствовать, как дышит дед Харламбий, как его грудная клетка расширяется и сжимается, как бьется его сердце — глухо, тяжело, как часы в старой башне.

Он сжал сильнее. И в этот момент земля под ними загудела. Громче, чем когда-либо. Поляна ожила: из-под снега вырвались тонкие струйки пара, сосны закрипели, и Иван услышал голос — не деда, не свой, а тот самый голос, который говорил с ним во сне.

«Теперь ты понял, корень. Теперь ты видишь. Хватка — это не сила. Хватка — это любовь. Любовь к земле. Любовь к сопернику. Ты не враг ему. Ты — его продолжение. Ты — его корень, как он — твой. Вплетай. Не рви».

Иван открыл глаза. Дед Харламбий смотрел на него, и в его сером глазу отражалась тайга, а в карем — огонь.

— Отпусти, — сказал он.

Иван разжал пальцы. Он стоял, тяжело дыша, и весь был покрыт потом — несмотря на мороз. Ладони его горели. Земля под ним пульсировала.

— Теперь ты знаешь, — сказал дед. — Ты больше не мальчик. Ты — борец.

Но Камзас не был тайгой. Камзас был шахтерским поселком — черным, грязным, пьющим. И в Камзасе жили другие законы.

Отец Ивана, Прокоп, работал в шахте «Северная-2», самой глубокой в округе. Он спускался под землю на шестьсот метров, на ту глубину, где воздух становится тяжелым, как

вода, где угольная пыль оседает в легких и никогда не выходит, где каждый день может стать последним. Он работал с утра до ночи, выходил на-гора черный, как сама земля, с красными глазами и кашлем, который разрывал ему грудь.

И каждую пятницу он напивался.

Пил Прокоп не так, как другие мужики — весело, с песнями, с драками. Он пил молча. Он садился за стол, ставил перед собой пол-литра, наливал стакан, выпивал. Наливал второй, третий. Молча. Смотрел в одну точку — туда, где раньше стояла кровать, где лежала его жена, где пахло папоротником. Он пил и смотрел.

Иван боялся этих вечеров. Не самого отца — отец никогда не поднимал на него руку. Он боялся тишины. Боялся того, что отец молчит, а молчание его было тяжелее любого крика. В этом молчании была вина. Была боль. Была смерть.

Однажды, в феврале, Иван пришел домой позже обычно. Он был в тайге до темноты — дед Харлампий учил его поворотам, учил уходить от захвата, учил быть гибким, как корень, который обходит камни. Он устал, был голоден и хотел спать. Но войдя в избу, он понял: что-то не так.

Отец сидел за столом. Перед ним стояла пустая бутылка, и вторая, уже начатая. Но он не пил. Он смотрел на дверь — и ждал.

— Где ты был? — спросил он. Голос был ровный, спокойный, но в нем было что-то новое. Что-то, чего Иван не слышал раньше. Гнев? Ревность? Отчаяние?

— В тайге, — ответил Иван. — У деда Харлампия.

— У Медведя, — усмехнулся отец. — Я знаю. Все знают. Ты ходишь к нему. Ты учишься у него. Ты думаешь, я не вижу?

Иван молчал. Он смотрел на отца, и в его груди закипало что-то — не страх, не вина, а что-то другое. Вызов.

— А что, отец, нельзя? — спросил он.

Прокоп встал из-за стола. Медленно. Тяжело. Он был огромный — под два метра, с плечами, которые не пролезали в дверной проем. Он подошел к сыну, навис над ним, и от него пахло углем, и водкой, и смертью.

— Хватит, — сказал он. — Хватит играть в игры. Ты будешь работать. Как я. Как все мужики в Камзасе. Ты пойдешь в шахту. Там нет места сказкам. Нет места медведям. Там есть только уголь, и смерть, и водка, чтобы забыть.

Иван смотрел на отца снизу вверх. Он не отступил. Он не отвел взгляд.

— Нет, — сказал он. — Я не пойду в шахту.

— Что?

— Я не пойду в шахту, — повторил Иван. Его голос был тихим, но твердым, как корень. — Я буду бороться. Я буду на ковре. Я стану чемпионом.

Прокоп засмеялся. Сухо, разорванно, как смеется человек, у которого внутри все сгнило.

— Чемпионом? — переспросил он. — Ты? Из Камзаса? Ты знаешь, что такое чемпион, сын? Чемпион — это тот,

у кого есть деньги, связи, тренировки, врачи. А у тебя есть что? Тайга? Старый Медведь, который сам не знает, кто он? Ты умрешь здесь, Иван. Как твоя мать. Как все мы.

И он ударил по столу кулаком. Бутылка упала, разбилась, и водка растеклась по дереву, пахнувшая горечью и ядом.

— Ты не пойдешь к нему больше, — сказал Прокоп. — Ты слышишь? Я запрещаю.

Иван молчал. В груди его закипал тот самый огонь — тот, который он почувствовал, когда лежал на поляне, когда его коснулись рога Огненного Быка. Он сжал кулаки. Земля под ногами — даже здесь, в избе, на деревянном полу, — загудела. Тихо, едва слышно, но он слышал.

— Нет, — сказал он.

И вышел из избы.

Ночь была лютой. Мороз сорок градусов, ветер, который резал лицо как бритва. Иван шел по улицам Камзаса, и снег скрипел под его ногами, и звезды над ним были колючими, как иглы.

Он шел в тайгу. К деду Харлампию. К поляне. К земле, которая его держала.

Он шел три часа. Валенки промокли, пальцы заледенели, дыхание стало коротким и хриплым. Он не плакал. Он просто шел — шаг за шагом, как учил его дед, как учил его Медведь во сне. Не останавливаться. Не сдаваться.

Когда он добрался до избушки деда, луна стояла в зените. Белая, холодная, равнодушная. Иван постучал в дверь. Тихо.

Сначала. Потом громче. Потом кулаком.

Дверь открылась. Дед Харлампий стоял на пороге — в одной рубаше, босиком, несмотря на мороз.

— Ваня? — сказал он. — Что случилось?

— Отец запретил мне ходить к тебе, — сказал Иван. — Он хочет, чтобы я пошел в шахту. Как он.

Дед Харлампий не удивился. Он посмотрел на мальчика своими глазами — карим и серым — и вздохнул.

— И что ты сделал? — спросил он.

— Я ушел.

— Правильно, — сказал дед. — Заходи. Согревайся.

Иван вошел в избушку. Внутри было темно, но тепло — пахло травами, мхом, дымом. На стене висели шкуры. На полу лежала медвежья шкура — огромная, бурая, с головой, на которой еще сохранились стеклянные глаза.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.